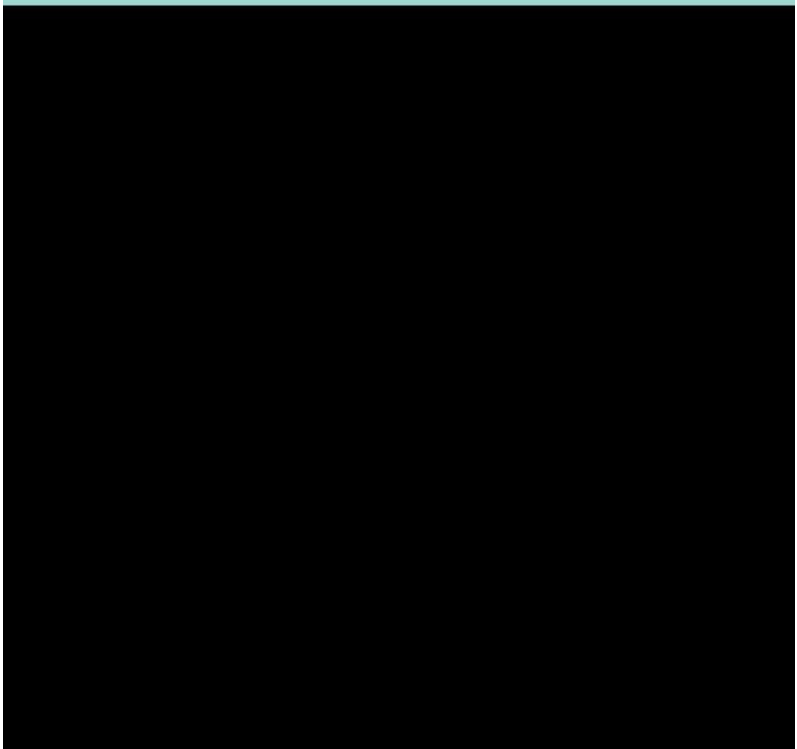
18+

Арина Лорель

Тридцать седьмая кассета



Арина Лорель
Тридцать седьмая кассета

https://litres.ru/74757679
ISBN 9785007152303

Аннотация

Вера Мельник — молодая учительница из маленького города Тихогорск. Её жизнь серая и предсказуемая: школа, тетради, молчаливая мать, вечернее вино. Однажды в баре она знакомится с обаятельным мужчиной по имени Марк, который предлагает подвезти её домой. Но вместо дома он привозит её в старый особняк, где в подвале оборудована тюремная камера. Марк — не маньяк в привычном смысле. Он архитектор, потерявший жену-художницу, и его одержимость — коллекционировать женские голоса.

Содержание

Тридцать седьмая кассета 5
Глава 1. Подвал 6
Глава 2. Тихогорск 14
Глава 3. Вечер 19
Глава 4. Ночь 35
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Тридцать седьмая кассета

Арина Лорель

© Арина Лорель, 2026

ISBN 978-5-0071-5230-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Тридцать седьмая кассета

Пролог

Голос.

Глава 1. Подвал

Подвал пах не землёй и не гнилью. Он пах музыкальной школой.

Вера поняла это раньше, чем открыла глаза. Раньше, чем вспомнила, кто она. Раньше, чем испугалась. Запах был старый, запретный, тянущийся из детства: сухой паркет, воск, пыль, лак, деревянные линейки, которыми били по костяшкам за перепутанный фа-диез. Запах человека, который когда-то давно умер, но всё ещё стоял за спиной и считал такты.

Она лежала на боку. Щека — на колючем. Мешковина. Под мешковиной — камень. Холод шёл снизу, медленный, как вода в трюме. Он забирался под платье, трогал рёбра, сжимал горло. Вера хотела пошевелиться, но тело не слушалось — тяжёлое, чужое, будто налитое свинцом. В голове гудело, во рту пересохло, язык прилип к небу. Она попробовала сглотнуть — не получилось.

«Где я?»

Мысль была вязкая, медленная. Она проползла через сознание и утонула где-то в темноте. Вера попыталась вспомнить — хоть что-нибудь. Лицо матери. Своё имя. Вчераш-

ний день. Но в памяти была только белая пелена. Мутная, как молоко. И запах. Этот запах — сухой, древесный, с нотами воска и пыли. Он был знаком. Он был откуда-то из прошлого. Давнего, забытого, похороненного под слоями лет.

Она открыла глаза.

Свет был жёлтый, больной. Лампочка под потолком, в железном намордник, затянутом сеткой. Пыльная, слабая. Она давала ровно столько света, чтобы различать контуры, но не видеть деталей. Стены — кладка, белая от соли. Выступающие швы, бугристые камни, тёмные пятна сырости. Прутья — от пола до потолка. Чёрные, толстые, сваренные крестнакрест. Они делили мир на две части: здесь и там. За ними — коридор. Узкий, каменный, как горло. Он уходил в темноту, и там, в конце, угадывалась дверь. Тяжёлая, железная, с массивным засовом.

Вера приподнялась на локте. Голова закружилась. Комната поплыла. Она замерла, пережидая. Потом села. Медленно, опираясь спиной на холодную стену. Камень впился в лопатки. Она поморщилась.

Напротив — вторая камера. Такая же: прутья, кладка, мешковина на полу. Только чуть шире. И там сидела девушка. Светлые волосы падали на лицо. Колени поджаты к гру-

ди. Руки обхватили ноги. Она была так неподвижна, что казалась частью стены. Тенью, которую забыли убрать. Статуей, высеченной из серого камня. Вера смотрела на неё долго, не решаясь заговорить. Девушка не двигалась. Даже не дышала, как показалось Вере. Только тонкая прядь волос шевелилась от сквозняка.

— Эй, — прошептала Вера.

Голос вышел хриплый, чужой. Как будто говорил не она, а кто-то другой. Кто-то, кто сидел в её теле и не умел пользоваться её связками.

— Эй!

Девушка вздрогнула. Медленно подняла голову. Лицо бледное, осунувшееся, под глазами — тёмные круги, как синяки. Губы потрескались. Кожа на щеках натянулась. Она смотрела пусто. Секунду. Две. Потом моргнула — и заплакала беззвучно. Только плечи дрожали. Слёзы катились по щекам, оставляя блестящие дорожки. Она не вытирала их. Не всхлипывала. Просто плакала — тихо, как дождь за окном.

Вера хотела сказать что-то ещё. Утешить. Спросить имя. Но слова застряли в горле. Потому что она поняла: эта девушка здесь давно. И то, что с ней случилось, — уже случи-

лось. И никакие слова этого не изменят.

Сверху раздался шаг. Один. Второй. Третий. Тяжёлые, ровные, без скрипа. Так ходит хозяин по своему дому. Он не спешил. Он знал, что они никуда не денутся. Каждый шаг отдавался в потолке, в стенах, в груди Веры. Она замерла. Прижалась к стене. Сжалась в комок. Шаги приблизились. Остановились. Скрипнула дверь наверху. Потом — тишина. Долгая, звенящая. Вера слышала только своё дыхание. И как девушка напротив перестала плакать. Как она тоже замерла, вжавшись в стену.

Вера закрыла глаза. И вспомнила.

Бар. Красное вино в бокале. Оля подмигивает от стойки — рыжая, смешливая, с вечным «ой, а давай». Музыка. Гитарист поёт про дождь. Мужчина в чёрном пальто. Пахнет деревом и табаком. «Здесь свободно?» Серые глаза. Бородка с сединой. «Я везу вас не домой». Дверь заблокирована. Сладкий запах — приторный, как дешёвый освежитель. Голова кругом. Язык ватный. Темнота. Темнота. Темнота.

Она открыла глаза. Посмотрела на решётку. На девушку напротив. На свои руки. Они дрожали. Мелко, противно, как у старухи. Вера сжала кулаки. Ногти впились в ладони. Больно. Но боль не отрезвляла.

Сколько прошло — час, день, неделя? Она не знала. В подвале не было окон. Только лампочка под потолком. Она горела постоянно — не мигала, не гасла. Время потеряло смысл. Оно растянулось, как резина. Или сжалось в точку. Вера не могла понять. Она знала одно: она в подвале. И она не одна.

Шаги наверху удалились. Скрипнула дверь. Тишина. Потом — голос. Низкий, спокойный, с хрипотцой:

— Добро пожаловать, Вера. Я ждал вас.

Голос шёл сверху. Из вентиляции. Или из коридора. Вера не поняла. Он был везде — в стенах, в камне, в воздухе. Он обволакивал, как вода. И в этом голосе не было угрозы. Только спокойствие. Уверенность. Как будто человек говорил о чём-то обыденном. О погоде. О чае. О том, что сегодня холодно.

Вера хотела крикнуть. «Кто вы?», «Что вам надо?», «Отпустите меня!» Но голос не слушался. Только губы шевелились беззвучно. Она смотрела в потолок — туда, откуда шёл голос. И чувствовала, как страх заполняет её — медленно, как вода в трюм. Сначала по щиколотку. Потом по колено. Потом по грудь.

Девушка напротив снова заплакала. Беззвучно. Плечи дрожали. Она знала этот голос. Она слышала его раньше. Много раз.

Вера закрыла глаза. «Я не умру, — подумала она. — Я не умру. Я не умру». Но где-то глубоко, в самом тёмном углу сознания, другая мысль — тихая, липкая, чужая — прошептала: «А может, лучше умереть?»

Вера открыла глаза. Посмотрела на девушку. На решётку. На лампочку.

— Нет, — сказала она вслух. Тихо, но твёрдо. — Нет.

Девушка подняла голову. Посмотрела на неё. В глазах — что-то. Не надежда. Скорее, удивление. Как будто она давно не слышала человеческого голоса. Как будто забыла, что это такое.

Вера подползла к решётке. Ближе. Ещё ближе. Пальцы обхватили холодные прутья. Они были покрыты какой-то смазкой — скользкой, вонючей.

— Как тебя зовут? — спросила она.

Девушка молчала. Смотрела. Глаза — серые, пустые. Как у куклы.

— Как тебя зовут? — повторила Вера. — Пожалуйста.

Девушка открыла рот. Губы шевельнулись. Но звука не было. Только выдох. Как будто она разучилась говорить. Как будто голос умер внутри неё. Она снова закрыла рот. Опустила голову. И замолчала.

Вера сжала прутья. Сильнее. До боли в пальцах.

— Ладно, — сказала она. — Не хочешь — не говори. Я буду говорить. Слышишь? Я буду говорить за нас двоих.

Она села на пол. Спиной к решётке. Обхватила колени. И начала говорить. Просто чтобы слышать свой голос. Просто чтобы не сойти с ума. Просто чтобы доказать: она ещё здесь. Она ещё жива.

— Меня зовут Вера. Вера Мельник. Мне двадцать три года. Я учительница. Русский язык и литература. Я живу в Тихогорске. Это маленький город. Никому не нужный. Как и я. Я проверяла диктанты. Тридцать семь тетрадей. Восьмой класс. Костя Фролов написал «здраствуйте» и «Расия». Я поставила ему тройку. И написала: «Костя, ты можешь лучше.

Я знаю».

Она говорила и говорила. Про школу. Про мать. Про Олю. Про Сашу Крылова, который рисовал драконов. Про озеро Светлое. Про отца, который ушёл. Про пустоту, которая жила внутри неё — годами, тихо, как плесень.

Девушка слушала. Сначала — не поднимая головы. Потом — подняла. Посмотрела на Веру. В глазах что-то дрогнуло. Что-то живое. Слабое, как огонёк спички в темноте. Но живое.

Вера говорила до хрипоты. До боли в горле. Пока голос не сел. Пока слова не закончились. Пока не осталась только тишина — густая, вязкая, как смола.

И тогда девушка заговорила.

— Нина, — сказала она. Голос — надтреснутый, слабый. Как старая плёнка. — Меня зовут Нина.

Вера посмотрела на неё. И улыбнулась. Впервые за всё время — улыбнулась. Не потому, что стало легче. Нет. Легче не стало. Просто она поняла: она не одна. И это было первое, что дало ей силы.

Глава 2. Тихогорск

Тихогорск не любит событий. За сто семьдесят лет здесь не случилось ничего, о чём стоило бы рассказывать за пределами области.

Город прижался к холодному озеру. Озеро называется Светлым, хотя вода в нём тёмная, почти чёрная, и только в июле, в три ночи, когда солнце не заходит, становится серебряной. Вера видела это раз в детстве — отец взял её на рыбалку, и они сидели в лодке, и вода вокруг была как расплавленное стекло. Потом отец ушёл. Озеро осталось. Вера больше не ходила на него ночью.

Лесопилка — там пилят сосну, и над северной окраиной стоит сладкий смолистый запах опилок. Рыбозавод — коптят омуля и хариуса, рыба уходит фурами в Краснореченск, Североград, столицу. Две школы: старая, в центре, с колоннами и лепниной, и панельная на окраине. Три садика. Больница, где по ночам дежурят один врач и одна медсестра, а если что серьёзное — везут в область, два часа по трассе. Кинотеатр, закрытый в девяносто седьмом; теперь там мебельный магазин, а на фасаде всё ещё висит выцветшая афиша «Титаника», порванная, но её никто не снимает — лень.

Пятиэтажки. Бесконечные. Одинаковые. Балконы заставлены банками и лыжами. Ржавые тарелки облепили стены, как бородавки. В подъездах пахнет кошками, хлоркой и чужим борщом.

Зимой — полярная ночь. Не настоящая, Тихогорск стоит на шестьдесят второй параллели, но достаточно тёмная, чтобы люди забыли, как выглядит солнце. Световой день — три часа. Серые, как старая простыня. Ни рассвета, ни заката. Сумерки, в которых время теряет очертания, и кажется, что ты живёшь не в городе, а внутри чьей-то затянувшейся бессонницы.

Вера Мельник прожила здесь все двадцать три года.

Родилась. Пошла в школу. Влюбилась в Сашу Крылова — рисовал на партах драконов, уехал в Североград после девятого. Закончила десять классов, уехала в Краснореченск, в педагогический, на филологический. Четыре года в общаге, комната на четверых. Это было счастье. Настоящее, громкое, с ночными разговорами, с чужими стихами, с ощущением, что жизнь наконец началась.

Потом жизнь закончилась.

Нет. Не так. Просто оказалась не той, которую Вера себе

рисовала. В Краснореченске работы нет. В столицу без связей и денег не пробиться. Мать осталась одна, сердце больное, звонила каждую неделю, и в голосе было столько одиночества, что Вера не выдержала.

Вернулась.

В школе освободилась ставка — русский, литература. Двадцать две тысячи плюс надбавка за вредность. Не бог весть что. Но лучше, чем ничего. Вера сказала себе: на год. Максимум на два. Подкоплю, подтяну мать, потом уеду. В Москву. В Питер. Куда угодно.

Прошло два года.

Она всё ещё здесь.

Вера стоит у окна — Садовая, восемнадцать, третий этаж, окна во двор — и смотрит, как падает снег. Медленно, крупными хлопьями, как в замедленной съёмке. Под фонарём снежинки золотые, в темноте — синие. Красиво. Она не замечает. Смотрит и не видит.

На столе горит лампа. Стопка тетрадей. Тридцать семь. Итоговый диктант, восьмой класс. Двадцать три проверены, голова болит. Ошибки, ошибки, ошибки. «Собака» че-

рез «а». «Не» с глаголами слитно. Запятые по наитию. Костя Фролов написал «здраствуйте» и «Расия». Вера поставила тройку и написала: «Костя, ты можешь лучше. Я знаю».

Она не уверена, что он может.

Она вообще ни в чём не уверена последние два года.

Мать спит в соседней комнате. Ложится в девять, встаёт в шесть. Между этими точками — вся её жизнь. Утром чай, телевизор, лекарства. Днём суп, уборка, сон. Вечером сериал, который она смотрит не глядя. Они почти не разговаривают. Не ссорятся — просто не о чем. Всё сказано. Всё прожито. Осталось ждать.

Вера боится этой тишины. Боится однажды проснуться и понять, что стала матерью. Что её жизнь — тоже чай, телевизор, лекарства. Что ничего больше не будет. Никогда.

Двадцать три года. Она чувствует себя старухой.

Тело ещё молодое, упругое, красивое. Она знает, хотя давно не смотрится в зеркало. Внутри всё застыло. Воск, который нагрели и забыли. Утром школа. Днём школа. Вечером кухня, вино, сериал. И каждое утро одна мысль: неужели это всё? Неужели так будет всегда?

Ответ придёт скоро. Через несколько дней жизнь треснет — как орех, пролежавший всю зиму на морозе.

Но в тот вечер ничего не предвещало.

Глава 3. Вечер

В тот вечер шёл снег.

Вера помнит его до мельчайших подробностей. Хотя тогда он казался обычным. Одним из сотен одинаковых вечеров, которые сливаются в один длинный серый день.

Она пришла из школы в половине четвёртого. Уроки закончились рано — у восьмого класса была экскурсия в музей, и Вера отпустила их на полчаса раньше. В музее она не была. Не хотела. Просто подписала журнал и ушла. Домой. В пустую квартиру.

Мать спала. Вера разулась, прошла на кухню, налила воды из чайника. Вода была холодная, с привкусом ржавчины. Трубы в доме старые, их не меняли с восьмидесятых. Она выпила залпом, поставила стакан на стол. Посмотрела в окно.

Снег шёл третий день. Город стал белым и тихим, как будто кто-то накрыл его ватным одеялом и приказал не шуметь. Двор был пуст. Качели занесены. Фонарь горел через раз — мигал, потрескивал, но не гас. Вера смотрела на него долго. Как заворождённая. Потом отвернулась.

На столе лежали тетради. Тридцать семь. Она проверяла их вчера, позавчера, сегодня утром. Красная ручка высохла. Вера поискала другую — в ящике, среди старых квитанций и батареек. Не нашла. Взяла синюю. Не по правилам. Но какая разница?

Она села за стол. Открыла первую тетрадь. Костя Фролов. «Здраствуйте, уважаемая Вера Андреевна! Я хачу расказать вам о своей любимой книге. Это Расия…»

Вера закрыла тетрадь. Отложила. Взяла следующую. Лена Смирнова. Аккуратный почерк. Ни одной ошибки. Лена всегда писала без ошибок. Вера поставила пятёрку. Подчеркнула красным — красиво. Потом спохватилась: ручка-то синяя. Ладно. Неважно.

Она проверяла тетради, пока не стемнело. Потом включила лампу. Свет жёлтый, тёплый, но какой-то больной. Как в подвале. Хотя тогда Вера ещё не знала, что будет подвал. Она просто думала: лампа старая. Надо купить новую. Но всё забывала.

В дверь позвонили.

Вера вздрогнула. Посмотрела на часы. Восемь. Кто мог

прийти в восемь? Мать спала. Соседи? Оля? Она не звонила.

Вера встала. Прошла в прихожую. Посмотрела в глазок. На лестничной клетке — никого. Только лампочка горит. Тусклая, жёлтая. Как в подвале.

Она открыла дверь. На пороге лежал конверт. Белый, без надписи. Вера наклонилась, подняла. Конверт был пустой. Только внутри — ничего. Она повертела его в руках. Может, ошиблись? Может, кто-то пошутил? Она выглянула на лестницу. Пусто. Только эхо — чьи-то шаги внизу. Удаляющиеся.

Вера закрыла дверь. Бросила конверт на тумбочку. Вернулась к тетрадям. Но что-то изменилось. Что-то дрогнуло внутри. Как будто кто-то прошёл по её могиле. Она не верила в приметы. Но всё равно поёжилась.

Через час позвонила Оля.

— Ты дома? — спросила она, не здороваясь. — Слушай, у нас сегодня живая музыка. Из Краснореченска. Гитарист, говорят, играет как бог. Приходи. Развейся.

— Оля, я устала. Тридцать семь диктантов.

— Проверишь завтра.

— Нет сил.

— Вот поэтому и должна пойти. — Голос Оли стал жёстче. — Ты сидишь в квартире, как в склепе. Не смеёшься. Не разговариваешь. Просто существуешь. Я тебя десять лет знаю. Раньше ты была другой.

— Раньше я была моложе.

— Тебе двадцать три, чёрт возьми.

Вера вздохнула. Посмотрела на снег. На тёмное небо. На окно матери, за которым горел ночник — слабый, жёлтый, как лампа в подвале.

— Ладно. Один бокал. И ухожу.

— Два бокала. И до последнего звонка.

Бар «Северный ветер» открылся три года назад. Столичный предприниматель по фамилии Коган решил, что Тихогорску позарез нужен лаунж с коктейлями по пятьсот рублей и диджеем по выходным. Местные мужики называли музыку «непонятной», но ходили — из любопытства. Женщины

приходили ради коктейлей и бархатных пуфиков. Молодёжь — ради ощущения, что они не в Тихогорске, а где-то в другом месте. Где тепло и красиво.

Вера не любила это место. Слишком много зеркал, слишком много света, слишком много людей, которые пытались казаться кем-то другим. Но Оля здесь работала, и это меняло всё.

Оля стояла за стойкой — рыжая, смешливая, с вечным «ой, а давай». Она наносила на ресницы пятнадцатый слой туши и одновременно смешивала коктейль с зонтиком, который сама придумала и который никто, кроме неё, не заказывал.

— Ты пришла! — закричала она через весь зал. — Я знала!

Вера села у окна. Заказала красное полусладкое. Парень с гитарой пел грустное — про дождь, про поезда, про девушку, которая ушла. Вера не заметила, как выпила второй бокал. Вино было тёплое, сладкое, и оно согревало изнутри — медленно, как печка в холодном доме.

Потом к столику подошёл мужчина.

— Здесь свободно?

Вера подняла голову. Чёрное пальто. Не снял. Тёмные волосы, чуть длиннее обычного, зачёсаны назад. Бородка с сединой. Серые глаза, внимательные. Лет сорок. Ботинки дорогие. Часы на запястье — «Омега», кажется. Вера не разбиралась, но металл блестел красиво.

— Свободно, — ответила Оля раньше Веры. Улыбнулась дежурно.

Мужчина кивнул. Взял стул. Сел за соседний столик, спиной. Заказал виски. Оля спросила: какой? Он ответил: «Макаллан, двойной, без льда».

Голос низкий, с хрипотцой. Так говорят те, кто много курил, а потом бросил. След остался.

Вера пыталась слушать Олю. Не получалось. Она чувствовала его спину. Кожей, затылком. Липкое, тревожное чувство. Как предчувствие, которое не объяснить, но знаешь точно: что-то случится. Уже началось.

— Посмотри, какой, — шепнула Оля. — Красивый. Наверное, командировочный. У нас таких нет.

— И слава богу. От командировочных одни неприятности.

— Например?

— Они приезжают, чтобы что-то взять. Потом уезжают. Оставляют пустоту.

Оля посмотрела внимательно.

— Ты про него или про себя?

— Про всех. Пойдём. Мне пора.

— Не допила.

— Допью дома.

Оля засмеялась и ушла за стойку — подмена подошла. Вера осталась одна. Бокал почти пуст. Мужчина за спиной. Снег за окном. Завтра диктанты. Фролов. Татьяна Ларина. Всё как всегда.

— Не спится?

Вздрогнула. Он стоял рядом, стакан в руке. Пальто не

снял.

— Простите. Не хотел напугать. Просто вы сидите одна. Меня зовут Марк.

— Вера.

Пожали руки. Ладонь сухая, тёплая. Пожал крепко, но не давил. Как человек, который знает, что делает, и не торопится.

— Вы не похожи на местную. Я надеялся найти здесь кого-то, с кем можно поговорить. Но, кажется, все пришли молчать.

— Да, мы такие. Тихогорск не славится разговорчивостью.

— А чем славится?

— Ничем. Потому и Тихогорск. Всё интересное — за озером.

Марк улыбнулся. Улыбка странная — трогала только уголки губ. Глаза остались серьёзными. Как если бы человек улыбался картинкой, а настоящая улыбка спрятана глубоко.

— А вы откуда? Тоже из командировки?

— Можно и так сказать. Я архитектор. Приехал посмотреть старую лесопилку. Говорят, там конструкции конца девятнадцатого века. Может, получится проект реконструкции.

— Кому здесь нужна лесопилка?

— Вы будете смеяться. Инвестору. Из столицы. Они иногда вкладываются в странное.

— В странное или в то, что можно продать?

Марк посмотрел с интересом.

— Хороший вопрос. Вы всегда так быстро находите суть?

— Я учительница литературы. Мы находим суть в чужом бреду и называем это анализом.

Он засмеялся — коротко, негромко. И Вера поняла, что ей легко. Странно легко. Как будто разговаривает со старым знакомым, которого давно не видела.

Разговорились. Вера не заметила, как пролетел час. Потом ещё полчаса. Марк Лунд — фамилия шведская, предки переселились ещё при Петре — говорил интересно. С расстановкой. Каждое слово взвешивал. Рассказывал о проектах в Европе. О реставрации старых зданий. О том, как важно сохранять память места, даже если само место никому не нужно.

— Вы философ, — сказала Вера. Вино ударило в голову. — Архитектор-философ.

— Нет. Я просто пытаюсь понять, как устроены вещи. Здания, люди, города. Это системы. У них есть законы.

— И какие?

Он посмотрел на неё. Долго. Секунду. Две. Потом сказал:

— Закон сохранения. Ничто не исчезает бесследно. Ни здания, ни люди. Всё остаётся. Вопрос только — в каком виде.

Объявили последний звонок. Вера стала собираться. Накинула куртку. Попрощалась с Олей — подруга подмигнула, показала большой палец. Вышла.

— Вера, подождите.

Марк догнал на крыльце. В свете фонаря лицо бледное, почти мраморное.

— Я подвезу. Темно, холодно. И, если верить навигатору, автобусы уже не ходят.

— Откуда вы знаете, что я на автобусе?

— Вы не сказали, где паркуете машину. Значит, её нет. Автобусы в таком городе вряд ли ходят всю ночь. Логика.

Вера хотела отказаться. Правда хотела. Но сказала:

— Ладно. Спасибо.

Машина — тёмно-синяя «Ауди». Не новая, ухоженная. Кожаные сиденья с подогревом. Пахло деревом и табаком. Этот запах Вера запомнит потом. Надолго.

Марк завёл мотор. Двигатель урчал мягко, почти ласково.

— Адрес?

— Садовая, восемнадцать.

— Садовая. Красиво. Сада там уже нет?

— Давно. Пятиэтажки и гаражи.

— Жаль. Не люблю, когда исчезает красота.

Ехали через город. Двадцать минут пустых улиц, снегопада, молчания. Вера смотрела на знакомые дома. Серые панели. Редкие горящие окна. Город казался машиной времени, которая едет назад и рассыпается на ходу.

Марк заговорил первым:

— Я сегодня рассказал вам много. О себе, о работе, о жизни. Вы — почти ничего. Только что учительница. И живёте на Садовой.

— А что рассказывать? Школа, дом, школа, дом.

— Неправда. В ваших глазах что-то есть. Недописанное. Как будто вы ждёте, когда начнётся настоящая жизнь.

Вера посмотрела на него. В темноте салона лицо наполовину в тени. Только профиль, освещённый приборами. И глаза, которые блестели странно. Слишком блестели.

— Может быть. Но у каждого своё представление о настоящем.

Он не ответил. Нажал на газ. Машина вылетела на трассу.

— Кажется, вы проехали поворот, — сказала Вера. — На Садовую надо было на Заречной.

— Знаю, — спокойно ответил Марк. — Я везу вас не домой.

— Что?

— Не волнуйтесь. Всему своё время. Я хочу показать вам кое-что. Обещаю, вы не пожалеете.

И тогда Вера поняла: случилось то, о чём предупреждают в соцсетях и что все пропускают мимо ушей. Потому что «со мной такого не случится, я же умная, я же осторожная».

Дёрнула ручку. Заблокировано. Полезла в карман за телефоном — нет телефона. В баре? Выпал? Или Марк вытащил, когда помогал надеть куртку?

Марк повернул голову. Улыбнулся — только уголками

губ. Глаза остались холодными.

— Я же сказал, Вера. Не бойтесь. Я не сделаю больно. Мне нужна ваша помощь.

Снег за окном усилился. Фары выхватывали стволы сосен. Снег летел в стекло, как тысячи белых мотыльков.

Вера закрыла глаза. В голове билась одна мысль: «Я не умру. Я не умру. Я не умру».

Машина свернула с трассы на грунтовку. Затрясло. Вера открыла глаза. Впереди — огни. Дом. Большой, старый, с колоннами, как в фильмах про плантации.

— Приехали, — сказал Марк. — Мой дом. Наш дом. На время.

Заглушил мотор. Вышел. Открыл дверцу.

— Выходите. Не заставляйте меня тащить вас. Не люблю это.

Вера вышла. Ноги ватные. Снег падал на лицо, таял на ресницах, стекал по щекам, как слёзы.

Марк взял её за руку — бережно, как берут чужую хрупкую вещь. Повёл к дому.

— Не бойтесь. Мне нужно, чтобы вы говорили. Всё, что помните. Всё, что чувствуете. Всё, что прятали. Ваш голос. Он мне нужен.

В доме пахло деревом, воском, старыми книгами. Марк провёл её через холл, мимо лестницы, к двери в углу.

За дверью — ступени вниз.

— Идите, — сказал он. — Я следом.

Вера шагнула. Потом ещё. Потом ещё.

Внизу — камера. Решётка. Мешковина. Ведро.

И девушка напротив. Та, что плакала.

— Устраивайтесь, — сказал Марк. — Ужин через час. Кричать бесполезно. Стены толстые. Никто не услышит.

Ушёл. Шаги удалились. Скрип двери наверху. Тишина.

Вера села на мешковину. Прислонилась к стене. Закрыла

глаза.

И начала говорить.

Глава 4. Ночь

Она говорила всю ночь.

Не Марку — его не было. Себе. В темноту. В холод. В пустоту. В камень, который смотрел на неё со всех сторон, как будто ждал, когда она сломается. В решётку, чёрную, толстую, сваренную крест-накрест. В лампочку под потолком, которая горела ровно, без мигания, и от этого казалась ещё более мёртвой. В девушку напротив — Нину, — которая сначала просто слушала, а потом начала отвечать.

Вера рассказывала о том, как в детстве боялась темноты. Не так, как боятся все дети — вздрагивают от шороха, прячутся под одеяло, просят оставить свет в коридоре. Она боялась по-настоящему. До тошноты. До ледяных пальцев, которые сжимали горло. До ощущения, что темнота — это не отсутствие света, а присутствие чего-то. Живого. Дышащего. Оно стояло в углу комнаты, смотрело на неё и ждало. Вера не могла объяснить, чего именно оно ждёт, но знала: если она заснёт, оно подойдёт ближе. Если отвернётся — коснётся. Если закричит — исчезнет, но потом вернётся. Она лежала с открытыми глазами, считала трещины на потолке, слушала, как в соседней комнате отец ругается с матерью. Крики были громкие, злые, с матом, с угрозами. Мать плака-

ла. Отец бил кулаком по столу. Вера затыкала уши, но крик проходил сквозь пальцы, сквозь подушку, сквозь одеяло. Тогда она начинала читать вслух. Сама себе. Шёпотом. Сказки, стихи, учебник по природоведению — что попадалось под руку. Голос заглушал крики. Голос делал темноту меньше. Голос был её первой бронёй.

Она рассказывала, как отец уходил в запой. Не на день, не на два — на неделю, на две, на месяц. Возвращался другим человеком: тихим, виноватым, с дрожащими руками. Приносил ей шоколадку «Алёнка» и смотрел так, будто просил прощения. Вера брала шоколадку, говорила «спасибо», уходила в свою комнату и ела её одна, в темноте, не включая свет. Потому что свет делал отца видимым. А видеть его таким — сломанным, жалким — было страшнее, чем темнота.

Она рассказывала, как впервые попробовала вино в шестнадцать. На дне рождения одноклассницы. Красное, сладкое, из пластикового стаканчика. Ей понравилось. Не вкус — ощущение. Мир стал мягче. Края закруглились. Крики отца, пустота в груди, страх темноты — всё отступило. Стало всё равно. Вера выпила ещё один стаканчик, потом ещё. Её вырвало в кустах за домом. Но она запомнила это чувство — «всё равно» — и потом искала его снова. В вине, в сериалах, в бессонных ночах, в работе. Оно возвращалось редко. Но когда возвращалось, Вера дышала свободнее.

Она рассказывала, как в университете влюбилась в преподавателя. Пожилого, седого, с усталыми глазами. Он вёл курс по русской поэзии начала двадцатого века. Читал Блока, Ахматову, Мандельштама. Говорил тихо, с паузами, и в этих паузах Вере слышалось что-то важное. Она ходила на все его лекции, садилась на первую парту, записывала каждое слово. Он не замечал её. Для него она была одной из тридцати студенток, серой, молчаливой, с вечно исписанной тетрадью. Вера не подошла к нему. Не призналась. Просто носила эту любовь в себе, как камень за пазухой. Тяжело, но привычно. Потом он уехал в другой город, и Вера поняла, что это была не любовь. Это была жажда. Жажда того, чтобы кто-то увидел её. Настоящую. Не учительницу, не дочь, не студентку. Её.

Она рассказывала, как хотела уехать в Питер. Как купила билет, собрала чемодан, попрощалась с матерью. Как стояла на вокзале, смотрела на табло, где светилось «Санкт-Петербург», и не смогла шагнуть в вагон. Что-то держало. Не страх. Что-то другое. Может, привычка. Может, чувство долга. Может, тихий голос матери, который сказал: «Кому ты там нужна?» Вера вернулась домой. Чемодан простоял в коридоре три дня, потом она убрала его на антресоли. Билет пропал. Питер остался в мечтах.

Она рассказывала, как два года каждое утро просыпалась с одной мыслью: «Неужели это всё?» Неужели её жизнь — это школа, тетради, мать, кухня, вино, сериал? Неужели ничего больше не будет? Неужели она так и умрёт в Тихогорске, не увидев мира, не полюбив по-настоящему, не сделав ничего важного? Эта мысль была как заноза. Она не болела постоянно, но стоило прикоснуться — и начинало саднить. Вера привыкла жить с этой болью. Как привыкают к шуму в ушах или к старой ране, которая ноет перед дождём.

Она говорила, пока голос не сел. Пока горло не начало саднить. Пока слова не превратились в хрип. Тогда она замолчала. Откинулась на стену. Закрыла глаза. В подвале было тихо. Только капель в углу — редкая, размеренная, как метроном. И дыхание Нины — тихое, но живое.

И тогда Нина заговорила.

— Я тоже так думала, — сказала она. Голос был надтреснутый, слабый. Как старая плёнка, которую слишком часто крутили. — Что это всё. Что ничего не будет. А потом поняла: будет. Только не так, как я хотела. И не там, где я хотела.

Вера открыла глаза. Посмотрела в сторону второй камеры. Нина сидела у решётки. Пальцы обхватили прутья. Лицо бледное, но глаза — живые. В них что-то горело. Слабо, как

свеча на ветру. Но горело.

— Что ты хочешь? — спросила Вера.

— Петь. Я хотела петь. У меня голос был. Сопрано. Чистый. Меня даже в училище звали. В Краснореченск. Педагог сказал: «Девочка, у вас талант. Вам надо учиться». Но денег не было. Мать одна, брат маленький. Я осталась. Работала в магазине. Продавала куртки. А по вечерам пела дома. Тихо. Чтобы соседи не слышали. У меня был старый кассетник. Я записывала свой голос. Слушала. Правила. Мечтала, что когда-нибудь выйду на сцену. Хотя бы в клубе. Хотя бы в Тихогорске. А теперь… — она усмехнулась. — Теперь он записывает моё молчание. Красиво, да?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.